



*Дом в Литцельштеттене (Констанце), где Шлейера осенила идея всеобщего языка
(Martin-Schleyer-Straße, 18)*

**ПОЯСНЕНИЕ**

Данная публикация содержит свидетельства самого Шлейера о том, как ему пришла в голову идея создания «мирового языка» — волапюка. Документ включает: 1) перевод на русский язык статьи Слоймера «Возникновение волапюка»; 2) волапюкский оригинал этой статьи; 3) автобиографическую заметку, которую полностью приводит Слоймер, в оригинале (на немецком языке), в переводе на английский, выполненном Германом Филиппсом, и в переводе на испанский, выполненном Элиасом Хименесом.

**СОДЕРЖАНИЕ**

[**Возникновение волапюка** 3](#_Toc63972379)

[**Daved Volapüka** 11](#_Toc63972380)

[**Wie kam der Erfinder der Weltsprache zur Idee seiner Erfindung** 17](#_Toc63972381)

[**How the Inventor of the World Language Arrived at the Idea of his Invention** 20](#_Toc63972382)

[**Cómo llegó a concebir su invención el Inventor de la Lengua Universal** 23](#_Toc63972383)

**Краткая биография И. М. Шлейера**

18.VII.1831 родился в Оберлауде (сейчас — Лауда-Кёнигсхофен), отец — заведующий школой (Hauptlehrer) Johann Philipp Schleyer, мать — Katharina Elisabeth Schleyer, урожд. Veith

1846–1852 учёба в гимназии, Таубербишофсхайм и Карлсруэ

1852–1856 изучение теологии во Фрайбурге

5.VIII.1856 Санкт-Петер (St. Peter) близ Фрайбурга, ординация (рукоположение)

1856–1858 приходской викарий в Зинцхайме (Sinzheim) и Баден-Бадене

1858–1867 работа в приходах в Кронау, Вертхайме и Мескирхе; законоучитель

 1863 начал вести подробные дневниковые записи, чем занимался до конца жизни (оставил 23 тетради дневников)

 1867 получил собственный приход в Крумбахе

 1875 апрель: поездка в Италию; июль — октябрь: тюремное заключение (Раштатт) из-за произнесённой проповеди; возглавил приход в Литцельштеттене

 1885 выход на пенсию, переезд в Констанц

 1894 получение титула папского прелата

16.VIII.1912 умер в возрасте 81 года

**Альберт Слоймер**, *школьный директор (Studiendirektor) в отставке, профессор, д-р теологии и философии (doctor philosophiae et theologiae), cifal*

**ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВОЛАПЮКА**

Изобретатель первого применимого всеобщего языка Иоганн Мартин Шлейер, в то время священник в Литцельштеттене (Litzelstetten)[[1]](#footnote-1) на Боденском озере (Bodensee), находился на 48-м году своей жизни, когда стал первым из всех людей, преуспевшим в изобретении искусственного языка, который в течение многих десятилетий доказывал свою применимость. Как создателю языка удалось прийти к этому изобретению, которое вызывало у его современников то величайшее изумление, то завистливую вражду, то ехидство, то желание подражать?

Если бы этот значительный человек не был также и необычайно усердным (плодовитым) автором (писателем), мы не получили бы настолько исчерпывающего ответа на этот вопрос. Однако Шлейер надиктовал в Констанце с 12 до 16 февраля 1888 года школьнику примерно пятнадцати лет по имени Брехт (Brecht) сочинение, которое имеет объём 16 страниц в 1/8 листа, с заглавием: «Как изобретатель волапюка пришёл к мысли о своём изобретении?» («Wie kam der Erfinder der Weltsprache zur Idee seiner Erfindung?»). Поскольку он впоследствии сам снабдил этот труд, записанный чужой рукой, словами: «Von Schleyer, J. M. dat. vpa» («<Написано> И. М. Шлейером, изобретателем мирового языка») и датой, в данном случае перед нами заслуживающий доверия документ.

На 60-м году после появления волапюка[[2]](#footnote-2), возможно, наши читатели живо заинтересованы в том, чтобы узнать в переводе этот документ, даже если он и является в некоторых местах слишком пространным и даже если упоминает второстепенные вещи. Будучи свидетельством (рассказом) великого человека, <этот труд> заслуживает того, чтобы быть приведённым полностью.

Рукопись, лежащая передо мной, гласит[[3]](#footnote-3):

«Такой бедный сельский священник **бедного** прихода, <как я,> должен стать для всех мастером на все руки. Сегодня ребёнок упал в воду и пошёл ко дну — сельский священник должен принять первые меры, чтобы реанимировать дитя. Завтра загорится домик подёнщика — священник должен командовать скудной пожарной службой. В другом случае плотник срывается с новопостроенного здания или жена учителя падает с высокого школьного крыльца и оба чуть не истекают кровью насмерть до появления врача — священник должен оказать чрезвычайно необходимую первую помощь. Опять же, в другой раз в открытом поле находят насмерть замёрзшего пропойцу — священник пытается и его вернуть к жизни, однако безрезультатно. Стараньями торгашей и лихоимцев жильё вдовы погибшего распродаётся до последней черепицы. От отчаяния она хочет броситься в Боденское озеро. Священник узнаёт об этом и принимает живое участие в аукционе, выкупая за самую высокую цену её любимые вещи: распятие, изображения святых, молитвенники, шторы и, конечно, кофейную мельницу, и проч., чтобы после распродажи отдать всё это поражённой женщине. Всё это и ещё многое другое в таком роде я, изобретатель волапюка, пережил в своём бедном деревенском приходе в Крумбахе (Krumbach) рядом с Мескирхом (Meßkirch, Бавария) с 1867 до 1875 г. и в Литцельштеттене у Иберлингенского (Überlingen) рукава Боденского озера недалеко от острова Майнау, Mainau (1875—1885), где я провёл долгое время — тяжёлые 18 лет, точь-в-точь так, как описываю это здесь.

В предпоследнем моём приходе, в Крумбахе вблизи Мескирха, в небольшой боковой долине верхней долины Дуная, где в своё время жили в рыцарском замке господа фон Вальдсперг (Von Waldsperg), среди бедных прихожан у меня был и такой сосед, как вдовец-плотник, заслуживавший величайшего сожаления. Он настолько обнищал, что был вынужден продать свою шляпку <лачугу>[[4]](#footnote-4), и в бывшем некогда его собственным домишке у него ещё оставалась только жалкая комнатушка как угол для жилья. Звали этого человека Шварц (Schwarz, «чёрный»), и всё чернее становились его злоключения. Хотя у него ещё было два взрослых работоспособных ребёнка, дочь пошла по кривой дорожке и умерла из-за последствия греха. При столь злополучном положении, в котором находился этот человек, в одно утро (25 февраля 1873 г., между 5-м и 6-м часом) вдобавок сгорела его каморка со всем его немногочисленным скарбом (загорелась балка у печной трубы). Мы, соседи, бросились туда и изо всех сил тушили пожар; так же поступила и моя единственная сестра. Она стремительно запрыгнула в свою обувь (утро было холодным). Пока она стояла в воде реки, так сильно простыла, что вскоре после этого заболела и умерла на 33-м году своей жизни, что причинило мне невыразимую боль, ибо мы очень сильно любили друг друга.[[1]](#noet_bal)

Когда комната соседа Шварца полностью сгорела, его сын, как легко догадаться, не пожелал оставаться дома у полностью обнищавшего отца. Сын отправился в Америку. При прощании с отцом было сказано:

— Дорогой мой, если будешь в Америке и заработаешь чего-нибудь, тогда не забывай и обо мне и посылай мне иногда деньги, хотя бы несколько крейцеров!

Сын со слезами на глазах обещал это. Он благополучно пересёк океан, устроился там (в Америке) на работу в шахту и зарабатывал деньги, но, кажется, позабыл своего бедного отца. У кого ещё тот мог бы просить совета, как не у соседа-священника. С глазами, покрасневшими от слёз, в один день он пришёл ко мне и пожаловался:

— Я воспитал детей, но вот теперь совсем один. Моя дочь мертва; мой сын в Америке, но выказывает мне неблагодарность.

Я постарался успокоить его и сказал:

— Твой сын всегда был славным малым, посему не может быть, чтоб он оказался неблагодарным. Написал ли ты хоть раз ему в Америку и пожаловался ли ему хоть раз на свои трудности?

Он сказал:

— Конечно же, я писал! Но он мне никогда не отвечает.

На это я по опыту неоднократных похожих случаев ответил:

— Дорогой сосед, часто случается, что адреса из Америки или в Америку, которые должны писаться по-английски (в английской орфографии), пишутся по-немецки (по правилам немецкого языка), то есть так, как их читают (произносят), а не так, как пишут или печатают. Так, например, слово «Iowa» (Айова) в адресах часто пишется как «Eiowa»… Ну и служащие почты, для которых адреса непонятны, быстро отбрасывают подобные письма в сторону. Когда ты, дорогой друг, стало быть, снова напишешь письмо в Америку, принеси мне адрес своего сына, который удастся разузнать у родственников в ближайших окрестностях. Я хочу потом всегда правильно надписывать тебе адрес на английском языке.

Сосед Шварц горячо поблагодарил меня, последовал моему совету, разузнал и принёс мне адрес своего сына. Я обнаружил, что адрес действительно был ужасно исковеркан по сравнению с англо-американской орфографией; он был написан по правилам немецкого языка, так, как его читают, а не так, как пишут и печатают. Вообще каждому, кто едет в Америку, следовало бы рекомендовать записывать свой новый адрес так, как его печатают, а не так, как читают! Я восстановил исковерканный адрес, насколько позволяла моя догадливость, в соответствии с правилами английского языка, и посоветовал соседу Шварцу без промедления написать своему сыну в Америку. Он так и поступил; адрес я написал правильно, письмо дошло до Нового Света, и вскоре после этого сын, действительно вовсе не отличавшийся неблагодарностью, ответил своему обрадованному отцу, прислав письмо и деньги. В результате затем на всех письмах в Америку я вынужден был надписывать адреса для соседа Шварца, а также для других жителей Крумбаха, да ещё к тому же для множества других людей со всей округи. Тогда меня будто громом поразило: «О, как бы прекрасно было, если бы все обитатели Земли вместо злополучно запутанных орфографий, являющихся нелогичными и непрактичными, что прежде всего демонстрирует орфография английского языка, но не в меньшей степени и русского, польского, шведского и немецкого, имели бы **один общий алфавит**, одну унифицированную орфографию, да, наверное, даже один всеобщий язык для переписки. Скольких обид, страданий, <затрат> времени и денежных потерь удалось бы тогда избежать, ибо, по примерному подсчёту, ежегодно на главном почтамте Вашингтона из-за злополучных правил письма естественных языков получают четыре с половиной миллионов писем, в том числе почти сорок тысяч важных сообщений, которые невозможно доставить только из-за таких злосчастных адресов, которые писали <на письмах> друг другу отец и сын Шварцы, пока я не вмешался со своей помощью. Что за бездонный источник всевозможных потерь, обид и нетерпимости — всего, вину за что следует возлагать не на простого гражданина, а, наоборот, на всех тех учёных, которые без конца продолжают действовать по заведённому порядку и совсем не хотят заняться мировой орфографией и мировым языком!» Вот так, единственно из любви к моим прихожанам и ко всем людям, которые вынуждены уезжать в разные области огромного мира или переписываться с людьми разных областей огромного мира, у меня созрела идея всеобщего языка, который теперь существует в реальности и описан в восьмом издании моей грамматики. Воплощение этой идеи было подготовлено почти беспрерывным изучением лингвистики и языков на протяжении (говорю это, ничуть не покривив душой) целых сорока трёх лет. Ведь когда я в 1879 году представил на суд публики свой первый алфавит волапюка, а вскоре после этого — грамматику волапюка, мне было 48 лет. Но когда мне было пять лет, славный викарий моего родного прихода, Лауды (поскольку в то время Оберлауда ещё была частью Лауды), начал склонять вместе со мной по старому доброму Брёдеру (Bröder)[[5]](#footnote-5): «mensa, mensae» и т. д. Так протекало обучение латыни, пока мой дорогой дядя[[6]](#footnote-6) в Кёнигхайме (Königheim) не продолжил моё обучение, когда мне было 11 лет, латинскому и немецкому языкам, поскольку он, на мою удачу, был очень хорошим грамматистом; точно так же и я многими считаюсь прирождённым грамматистом. Потом я учил в гимназии в Таубербишофсхайме (Tauberbischofsheim), как и все гимназисты, французский язык, древнегреческий и иврит, а вдобавок к ним, только уже по своей инициативе — милостью тогдашнего профессора, ныне инспектора старших школ тайного советника <по фамилии> Блац (Blatz) в Карлсруэ (Karlsruhe), который написал первую из лучших подробных грамматик немецкого языка, — дополнительно английский и итальянский языки, последний из которых, чтобы подготовиться, хотя и слишком заблаговременно, к итальянскому путешествию с посещением Рима и Неаполя. В университете <города> Фрайбург-им-Брайсгау (Freiburg im Breisgau) дополнительно я ещё изучал арабский и сирийский языки; в годы, когда я служил викарием и пастором, особенно в Вертхайме (Wertheim), ещё русский и португальский языки, все остальные европейские языки и неевропейские языки, так что за время, которое я провёл в Мескирхе, Крумбахе и Литцельштеттене, я изучил пятьдесят пять языков. Кроме того, я так же активно занимался, особенно в Баден-Бадене, Кронау, Вертхайме (Baden-Baden, Kronau, Wertheim), Мескирхе и Литцельштеттене, поэзией на немецком, латинском и древнегреческом языках, также на сирийском языке (Ефрем[[7]](#footnote-7)), и ещё стихами <на языках> многих других народов, у которых уже есть свои собственные классические авторы. Всё это я делал, чтобы проследить, как человеческий интеллект разумно, логично, практично и с совершенной искусностью выражается повсюду в самых различных языках, и чтобы придать моему волапюку, насколько это возможно, простоту, лёгкость, логичность, последовательность, практическую ценность и благозвучие, в чём, по всеобщему заключению всех достойных, непредвзятых, религиозно и политически не ангажированных мужей всех национальностей, которые правильно и основательно изучили мой волапюк, несомненно преуспел.

Но только Всеблагого Создателя моего я должен благодарить за то, что несомненно имею врождённый талант к языкам, посредством которого, несмотря на то что моя память, перегруженная миллионами языковых форм и слов разных языков, сильно ослабла из-за серьёзной болезни, я сумел выучить, почти инстинктивно, чрезвычайно легко, с радостным настроением и с настойчивостью, не омрачаемой никакими горькими разочарованиями, много иностранных языков между 5-м и 50-м годами своей жизни. Идея мирового языка, <исторически> столь долго подготавливавшаяся и меня посетившая абсолютно независимо (ибо я ничего не знал о подобных трудах своих предшественников, таких как Лейбниц, Уилкинс, Бахмайер и др., — и, чтобы не попасть под чужое влияние, впоследствии не стремился ничего о них узнавать), затем теоретически была воплощена бессонной ночью, для меня самого загадочной и таинственной, в пресвитерии (доме священника) в Литцельштеттене близ Констанца, в угловой комнате второго этажа, которая смотрела в сторону сада при пресвитерии, в середине марта 1879 г., в ту ночь, в которую я погрузился в раздумья о всех глупостях, неудобствах, недостатках и страданиях нашего времени. Чтобы подлинно засвидетельствовать и без обиняков признаться, как потрясено было моё сердце в эту необычайную ночь, могу сказать только следующее с величайшими благодарностью и смирением: мой добрый Ангел-хранитель тогда внезапно вдохнул в меня полную систему всеобщего языка волапюк. Затем 31 марта 1879 г. я впервые изложил в письменной форме основные правила моей грамматики. С того времени я из чистой любви к исстрадавшемуся человечеству пожертвовал необычайно много времени, сил, бессонных ночей, напряжения зрения и нервов, здоровья, полученных денег, почтовых расходов в тысячи немецких марок, средств из моего жалованья священника, отказался от возможности увеличить доходы, улучшить жильё, сад, продвинуться по карьерной лестнице — и всё это ради моей охватывающей весь мир идеи; вследствие этого мог бы надеяться, что человечество ещё в ходе моей жизни выкажет мне благодарность, может, даже миллионер или другой состоятельный человек устроил бы так, чтоб у меня была беззаботная старость, в то время как теперь я вынужден сводить концы с концами, получая прибыль от своих юношеских сочинений. Увы, кто-то тратит сотни тысяч <марок> на причуды, прихоти, капризы и т. п., в то время как став покровителем и меценатом для благословенной идеи, мог бы навсегда обессмертить своё имя (Sapientibus sat!)».

До этого места продолжалась диктовка Шлейера. Упомянутый в ней мировой алфавит впервые был составлен 18 января 1878 г. для «Арфы Сиона». Отец автора алфавита, ушедший на пенсию учитель Иог. Филипп Шлейер (ум. в 1891 г.[[8]](#footnote-8)), скопировал (переписал) алфавит для сына, как отмечается в дневнике. Длинное сочинение, записанное **его, Шлейера, собственным письмом**, лежащее передо мной, датировано 14 февраля 1878 г. и состоит из 26 букв. Шлейер сразу проверяет в рукописи применимость алфавита, поскольку записал Магнификат из Библии (Лк. 1: 46—53) на испанском, итальянском, английском, французском, русском и немецком языках на этом алфавите. В тот же самый год он ещё напечатал у книжного поставщика двора <по фамилии> Таппен (Tappen) в Зигмарингене (Sigmaringen) принципы мирового алфавита. От руки Шлейер прибавил на корректурном оттиске, присланном ему, примечание: «Каждая буква, которая звучит не так, как выглядит (читается не так, как пишется), является **симулянткой**; жалоба букв об этом!» В 1878 г. разработчик послал свой мировой алфавит деканам философских факультетов в университетах Барселоны, Турина, Кембриджа, Парижа и Петрограда <sic!>, а также — в 1879 г. — декану факультета католической теологии в Тюбинген (Tübingen) и имперскому почтовому министру Стефану[[9]](#footnote-9) в Берлин.

В 1879 г. наш неутомимый герой разработал «новую орфографию» для слов **немецкого языка.** Шлейер называл её «будущим рациональным алфавитом». С того времени записи в дневниках всё чаще делались в этой **его** «орфографии», а по прошествии времени в дневниках появляется и много слов волапюка.

Ещё нашим читателям будет интересно узнать, что Шлейер в своей дневниковой записи от 17 октября 1877 г. пишет: «**Сегодня** я начал Völkerdolmetsch («Толмач народов») на шести языках (немецкий, английский, итальянский, испанский, французский, русский, 21 страница)».

Шлейер вёл свои дневники с тщательной аккуратностью. Учитывая это, тем более примечательно, что в них невозможно найти **ни малейшей заметки** о **ночных событиях** марта 1879 г., когда перед его мысленным взором, по собственному сообщению, уже ясно предстала система волапюка. Под вышеупомянутой датой, 31 марта 1879 г., содержится только такая запись: «Сегодня начинаю мой **волапюк** и грамматику (простую, рациональную, практичную) в **общих чертах**! Deo gratias!»[[10]](#footnote-10) Затем 2 апреля сообщается: «Работа над волапюком», и 3 апреля: «Работа над моим волапюком», и так же 5 апреля: «Работа над волапюком». (Этим же днём датирована запись: «Мебельщик Штробель (Strobel) сделал для меня **фильтровальную машину**, изобретённую мной, и сегодня принёс её мне за 7,20 марки».) 7 и 8 апреля снова продолжаются занятия волапюком: «47 суффиксов и 33 главных правила». 13 апреля Шлейер записывает: «**Перевёл на волапюк „Магнификат“** (сравни Евангелие от Луки, гл. 1, ст. 46 и далее) **и афоризмы**». 15 апреля упоминается: «Работа над волапюком (корректура)». 16 апреля Шлейер наконец записывает: «Проект моего волапюка и грамматики — к <издателю> Таппену (Зигмаринген в княжестве Гогенцоллерн)». 19 апреля: «Работа над волапюком, словарём, пробными предложениями, и т. д. Получил от Таппена первый **корректурный лист** проекта волапюка с 80 правилами!»

29 апреля Шлейер сообщает: «Получил от Таппена 900 **напечатанных с одной стороны** экземпляров своего „Проекта волапюка“ (четыре страницы)». 30 апреля он пишет: «Семь экземпляров „Волапюка“ я отправил почтой директору почты Стефану, а три экземпляра — **членам** Королевской **академии** наук в Берлине».

С 1 мая 1879 г. часто встречается такая запись: «Работа над **словарём** волапюка». 3 мая Шлейер отправил два проекта волапюка и великому герцогу Баварии (феодалу земли, в которой жил), которые даже были «зарегистрированы».

4 мая прибыл книжный поставщик двора Таппен из Зигмарингена, чтобы договориться с Шлейером о печатании **грамматики** волапюка.

6 мая Великий изобретатель имел счастье во время прогулки **впервые** преподавать волапюк обеим дочерям своего домашнего врача доктора Вильгельма Шахлайтера (Wilhelm Schachleiter) из Мескирха, Терезе (Therese) и Фриде (Frieda) (19 и 14 лет), при этом Шлейер отметил: «Они всё схватывают на лету, особенно Тереза». 10 мая 1879 г. записывает: «Терезе и Фриде Шахлайтер — первое письмо на волапюке о прибытии в здешнее место, сне из Рима и визите». Шлейер послал почтой своё сочинение со «**списком слов**».

12 мая 1879 г. Шлейер отмечает: «Определился с 1248 словами волапюка», и с того времени неустанно продолжает работать над волапюкским лексиконом, вплоть до того момента, как весной 1880 г. в комиссионном издательстве «Таппен» («Tappen») наконец не появилось **первое** издание грамматики и словаря волапюка (136 страниц в малую октаву, за 1 марку).

Для более широко распространения Проект волапюка и мировой грамматики для образованных людей всех наций Земли впервые был опубликован как приложение к 35 номеру «Арфы Сиона» (4 год издания, май 1879 г.), ежемесячника, основанного самим же Шлейером в 1876 г.; и именно это периодическое издание служило ему до появления первого «Волапюколистка» («Volapükabled», в январе 1881 г.) для распространения идей о волапюке, в основном в поэтической форме, и для объединения сообщества преданных волапюкистов.

«Проект» уже включал одиннадцать «образчиков волапюка», то есть предложений, созданных для практики, вместе с 30 основными правилами языка. С пункта 32 и до конца[[11]](#footnote-11) перечисляются и разъясняются все суффиксы.

1 марта 1885 г. Шлейер опубликовал **последний** номер своей «Арфы Сиона». Это было обусловлено болезнью и другим делом[[12]](#footnote-12). Однако друзьям журнала удалось выпускать с 1 января 1886 г. его продолжение, которое тоже, <как и «Арфа Сиона»,> выходило у <издателя> Августа Фейеля (August Feyel) в <городе> Иберлинген. В 3-м номере «Новой арфы Сиона», мартовском выпуске за 1886 год, на странице 48 есть следующее стихотворение[[13]](#footnote-13):

**К ШЛЕЙЕРУ**

О певец в далёкой дали, почему звук арфы

и сладкая песнь твои заглохли? Почему ты уже так долго молчишь?

Ах, тщетно с жаждой ждут все те, кто радовался твоим песням;

теперь стало тихо, уже со столь давнего времени.

Наконец, сюда приходит новость, что игру на струнах арфы

оставил наш певец, дабы посвятить себя другой цели.

Поскольку он часто ездил по некой чужбине,

ощутил, хотя знает благодаря своему таланту много языков,

всё ж сожаление столь горькое в сердце из-за того, что с тех пор как была построена Вавилонская башня,

не находилось ни одного языка, который знаком всем людям.

И после долгого тщательного обдумывания в его мыслях наступила ясность,

а также и знаки теперь внезапно открылись ему.

Затем и слова изобретаются — так появляется волапюк.

Теперь он принимается за свой возвышенный труд с полным пониманием.

Много знающих науки учеников собирается вокруг него в широкий круг,

и так он погружается в исследования всё больше и больше, и результат труда его оправдывает усердие.

Эту работу в будущем ждут результаты, очень важные для мира,

даже если этот язык и не понравится иному незначительному скептику.

Он же пожертвует свою силу и остаток своей верной жизни;

ибо разум его, который всегда занят исследованием, не позволяет отдохнуть телу.

О, пусть он ещё довершает свой труд! В более позднее время

его имя увенчают бессмертной славой.

Но для того чтобы «Арфа Сиона» не заглохла окончательно,

исполненные любви руки предложили себя для службы арфе,

и певцы снова собираются в мощный союз.

Ты, о первый мастер арфы, благослови его и устами, и сердцем,

чтобы снова звуки арфы широко разносились бы по горам, морю и земле

и были бы посвящены со всем воодушевлением только чистому, благородному и прекрасному!

Позволь, дабы другие пели песни, которые льстят земным заблуждениям!

Наши песни, наши голоса пусть радостно направляются к Небу,

являясь прелюдией вечной песни в широких просторах Небес,

где обращается в действительность изящная грёза нашего стихотворения!

Мисбах (Miesbach, Бавария)

Вильгельмина Зайле (Wilhelmine Seile), урожд. Адам (Adam)

**Примечание автора**

[1] Поскольку Великий изобретатель волапюка столь часто в своих дневниках упоминает свою единственную сестру (кроме неё, у него ещё было три брата[[14]](#footnote-14)) и так долго потом оплакивал её, наверное, имеет смысл привести здесь некоторые биографические данные о ней. Звали её **Катарина** Розалия (Katharina Rosalia), она родилась 10 июля 1839 г. Занималась ведением хозяйства своего брата, хотя намеревалась, когда ей было 18 лет, стать монахиней. В дневнике Шлейера значится в записи от 2 марта 1873 г.: «Сестра Катарина больна», 3 марта: «Сестра Катарина ещё в постели», 4 марта: «Сестра Катарина в бреду со вчерашней ночи до сегодняшнего дня, обмывания успокоили её, утром: очень больна — жар, резкая боль в нижней части живота; пастор Райнхард (Reinhard) из Болля (Boll)[[15]](#footnote-15) причастил её; привели квартального врача <по фамилии> Галлер (Galler); тщательный уход силами племянницы (то есть Катарины Хартман (Katharina Hartmann); родилась 11 ноября 1832 г., умерла 4 апреля 1915 г. в Констанце; вела хозяйство в доме Великого изобретателя с 1873 г.) и моими». 5 марта Шлейер среди прочего пишет: «Я чуть не валюсь с ног от усталости». 6 марта написано: «Утром сестра Катарина сильно недомогает; в метель предложил ей последний елей[[16]](#footnote-16); с небесной радостной улыбкой она жадно прижала к своим губам дароносицу со Святыми Дарами (гостией); она желает покинуть постель, перебирается в моё кресло (которое вызывало её благоговение, будто освящённое!); обморок, её снова переносят в кровать, она становится спокойнее. Всё утро и весь день до полудня она достойно подготавливает себя к смерти, говорит с верхненемецкой манерой, зычно, громко (так, как она никогда не говорила), как будто из другого мира: „Deo gloria! Deo gratias! Не плачьте обо мне, молитесь!“ Её последнее слово, произнесённое еле слышно, было: „Крепкий!“[[17]](#footnote-17) После двух или трёх всхлипываний её доброе сердце не выдержало.

О, сколько хороших советов она дала мне искренне, правдиво, от всего сердца! Улыбаясь, с красными щеками лежала она на смертном одре, воистину непорочно. Да упокоится с anima vere candida этим в райском спокойствии!»

Последующие дни наполнены записями об умершей. Среди них Шлейер сообщает 8 марта о **появлении** усопшей, которая была погребена в предыдущий день. К 15 марта он сочинил стихотворную погребальную песнь на её смерть из 12 строф.

Мнение Шлейера, что его сестра умерла в «возрасте Христа», то есть когда ей было 33 года, было отчасти ошибкой, потому что умершей было больше тридцати трёх с половиной лет.

**DAVED VOLAPÜKA.**

Fa ‚Studiendirektor’ p.d. ‚Prof. Dr. theol. et phil. Albert Sleumer’: cifal Volapükanefa.

Datikan valemapüka gebovik balid: ‚Johann Maritn Schleyer’, ettimo pädan in ‚Litzelstetten’ len ‚Bodensee’, ästadom ün lifayel 48id oka, ven om, as balidan menas valik, äplöpom ad datuvön mekavapüki, kel dü degyels mödik äblöfon gebovi oka. Lio bo äreafom-li ad datuv at, kel äsüükon pö timakompenans oka dilo stuni gretikün, dilo neflenami glötik, dilo kofiäli e dilo züpädiäli?

If man veütik at no ibinomöv i lautan plödakösömiko zilik, no ilabobsöv gespiki so süperiki ad säk at. Somo edikom in ‚Konstanz’ ün dels 12id jü 16id febula yela: 1888 julane ze deglulyelike labü nem: ‚Brecht’ penoti, kel labon gretoti jölplifätapadas 16, sa tiädi: ‚Wie kam der Erfinder der Weltsprache zur Idee seiner Erfindung’? (= Lio datuvan Volapüka äreafom-li ad tiket datuvota okik?). Bi om it eblimom penädi foginapenätik at poso me vöds: ‚Von Schleyer, J. M. dat. vpa’ (= fa ‚J. M. Schleyer’, dat. Vpa) e me dät, is lo obs doküm konfidovik dabinon.

Ün yel 60id pos daved Volapüka, bo mögos, das reidans obsik labons nitedäli liföfik ad seivön in tradut lepenädi at, igo if binon-la in tops anik tu veitöfik, ed igo mäniotilon-la dinis näidinik. As temunod mana gretik digädon ad pamäniotön löliko.

Namapenäd fo ob seatöl tonon so:

„Länädapädan pöfik somik komota **pöfik** mutom vedön pro valans valofägan. Adelo cil falon ini vat e noyon: länädapädan mutom gebädön steifülis balid ad dönulifükön oni. Odelo domil delavobana felefilon: om mutom lebüdön lefilapoldi pöfädik. Pö fätot votik kapenan sturom de bumäd nulo pabumöl, u jimatan tidana dofalof de julapärunül geilik, e bofikans ti deibludons, büä sanan pubom: pädan mutom gevön yufi mu zesüdiki balidi. Dönu pö naed votik tuvoy in fel lardik brietani edeiflodöl: pädan steifom ad lelifükön i lani omik, ye nensekiko. Dub luhägans e vukans tein lätik löda jiviudana epäridikölana paselon. Sekü däsper vilof stürön oki ini ‚Bodensee’. Pädan lelilom atosi, e kelofom liföfiko pö lesel, plulofom pö sel budinas ofik: krusifid, magods saludanas, plekabuks, körtens e kafigrainöm nevitovik,… ad legivön pos lesel vali mu-lestunölane. Atosi valik e nog somikosi votik ömik ob: datuvan Volapüka äbelifob in vilagapädäns pöfik obik, in ‚Krumbach’ nilü ‚Meszkirch’ (Badän) de 1867 jü 1875 ed in ‚Litzelsteteen’ len lakatuig di ‚Überlingen’ ela ‚Bodensee’ no fagik de nisul: ‚Mainau’ (1875—1885), kö älifädob timi lunik yelas fikulik 18, kuratiko so, äsä äbepenob is osi.

In pädän bülätik obik in ‚Krumbach’ nilü ‚Meszkirch’ in näifälidil löpafälida di ‚Donau’, kö ettimo söls: ‚Von Waldsperg’ älödoms in lesiörakased, älabob as nilädan bevü pädänans pöfik i hiviudani ä kapenani vemo pidabiki. Atan ävedom so pöfik, das ämutom selön hätili[[18]](#footnote-18) oka, ed in domil büikumo lönik oka te nog älabom cemili miserabik asä lödili. „Schwarz” (= blägik) nem omik äbinon, ed ai „schwärzer” (= blägikum) mifät omik ävedon. Fe älabom nog cilis daülik vobafägik tel, ab daut äbegolof vegi badanas ed ädeadof sekü sek sinoda. Pö stad vemo mifätik, in kel man äbinom, tü göd semik (de düp 5id jü 6id ün 1873 febul 25) zuo cemil omik ko dalabotils nemödik valik oma älefilon, bem len fönarüd ifilikon. Obs: nilädans älüspidobs, ed äkvänobs me töbids valik obas; leigoso sör balik obik ädunof. Ästeigof spido futis nüdik ini juks oka, göd äbinon koldik. Du ästanof in vat bluka, äkoldätikof so vemo, das suniko pos atos ämalädikof, ed ädeadof ün lifayel 33id oka, kelos äkodon obe doli nesagovik, ibä ilöfobs odi muvemo.[I)](#noet_bal_Vp)

Ven cem nilädana: ‚Schwarz’ löliko ifelelfilon, son klüliko no plu äplidom ad binön domü fat löliko ipöfikumöl. Ätevom lü Merop. Pö ledit de fat atan äsagom: „O löfäb obik! if binol in Merop e meritol bosi, täno lememolös ga i obi, e sedolös obe semikna moni mö kruzars anik!” Son äpromom drenölo atosi. Äkömom benofätiko love sean, ädagetom us vobi in meinäd, ämeritom moni, ab äjinom eglömön fati pöfik oka. Kime votik öbegomöv-li konsäli, äsä nilädane: pädan. Ko logs sekü drenam irediköls äkömom ün del semik lü ob, ed äplonom: „Edugälob cilis; ab nu binob löliko soalik. Daut obik binof deadik; son obik binom in Merop, ab nendanik kol ob.” Ästeifob ad trodön omi, ed äsagob: „Son oli ai äbinom brafik; klu no mögos, das binom nendanik. Epenol-li üfo neai ome in Merop, ed eplonol-li neai ome ditreti ola?” Äsagom: „Si dido! ab neai gespikom obe.” Ad atos ägespikob ome ma plak mödanaik sümik: „O nilädan löfik! suvo jenos, das se Merop u lü Merop ladets in Linglänapük penabiks papenons Deutänapükiko, efe so, äsä reidoy onis, plas so, äsä penoy u bükoy onis. Somo samo vöd: ‚Iowa’ su ladets suvo papenon: ‚Eiowa’… Benö! potacalans, pö kels ladets binons nesuemoviks, jedons brefo flanio penedis somik. Ven ol, o flen löfik! Kludo penol dönu penedi lü Merop, so blinolös obe ladeti sona olik, keli bo seividol pö röletans in tops nilädik! Vilob täno ai penön ole ladeti veräto in pük Linglänik.” Nilädan: ‚Schwarz’ ädanom fäkiko obi, äsöfölom konsäli obik, ädatuvülom ladeti sona okik, ed äblinom oni obe. Ätuvob oni jenöfiko ma lotograf Lingläna-Meropik jeikiko mifomiki; pipenon Deutänapükiko, soäsä äreidoy oni, ab no, soäsä äpenoy ed äbükoy oni. Alane, kel tevon lü Merop, sötoyös komandön, ad penön ladeti nulik oka so, äsä bükoy oni, no so, äsä reidoy oni! Ästukob dönu, ma leced gudikün oba, ladeti pimifomöl ön mod Linglänapükik, ed äkonsälob nilädane: ‚Schwarz’ ad penön sunädo sone omik in Merop. Ädunom atosi, äpenob verätiko ladeti, pened älükömon in Vesüdän fagik, e suno pos atos son jenöfiko no nendanik äbegespikom fati dafredik oka me pened e mon. Sekü atos ob it fovo ämutob ladetön pro nilädan: ‚Schwarz’ e votikans de ‚Krumbach’, ed i nog pro votikans mödik züamöpa lölik, penedis valik lü Merop. Täno äso ko nämäd leklära tiket äsüikon pö ob: „O! kiojönik binosöv, if lödans valik tala, pla lotografs mifätiko brulüköls, netikaviks e neplagöfiks, soäsä mu pato ut Linglänapüka, ab i uts Rusänapüka, Polänapüka, Svedänapüka e Deutänapüka binons, dalabonsöv **lafabi kobädik bal,** lotografi leigöfik bal, si! ba igo spodapüki valemik balik bal. Kiomödiks skan, dol, tim<i->, e moniperot… pavitonsöv täno, ibä ma kalkul viföfik in lepotöp di ‚Washington’ alyeliko, sekü penam mifätik natapükas, peneds fol- e lafabalion pagetons, bevü kels völadadins ti foldegmil dabinons, kels binons nedegivoviks te sekü ladets mifätik somik, äsä fat e son: ‚Schwarz’ äpenoms ode, büä ävüikob yufölo. Fon bundanik kion perotas, skana e nesufäda valasotikas! kelos no kanon pakodidön sifädane balugik, güä nolavanes valik ut, kels aidulo bleiboms dunön roto e leno viloms jäfikön me volalotograf e volapük. Somo sekü löf teik pro pädänans obik, ed i pro mens valik, kels mutons setevön lü vol lardik, u mutons spodön ko vol lardik, pö ob tiket valemapüka ämadikon, soäsä on nu jenöfiko dabinon in dabükot jölid gramata obik. Ledun tiketa at päpreparon dub stud ti nenropik pükava e pükas dü lunüp (kanob sagön konsienöfiko) yelas foldegkil. Ibä ven ob ün yel: 1879 äsevädükob Volapükalafabi balid obik e suno pos atos Volapükagramati, älabob lifayelis 48. Ab ven älabob bäldoti yelas lul vikaran brafik lomapädäna obik: ‚Lauda’ (ibä ettimo el ‚Oberlauda’ nog äbinon filial ela ‚Lauda’) äprimom ad deklinön kobo[[19]](#footnote-19) ob ma el ‚Bröder’ gudik bäldädik: ‚mensa, mensae,…’ So stud latina päfövon, jüs ziom löfik obik in ‚Königheim’ äpludugälom obi, ven älabob lifayelis 11, tefü latin e Deutänapük, ibä äbinom benofäto gramatan vemo gudik, soäsä ob panemob fa ömans gramatan lönanatälik. In gümnad in ‚Tauberbischofsheim’ älärnob täno, äsä gümnadans valik Fransänapüki, Vöna-Grikänapüki e hebreyi, e lä ats ye nog libaviliko — dub gud profäsorana ettimik e löpajulakonsälala nutimik ä klänakonsälala: ‚Blatz’ in ‚Karlsruhe’, kel älautom bali gramatas Deutänapükik veitöfik gudikün — zuo pükis Linglänik e Litaliyäniki, lätiki at ad preparön obi ya go gölo pro täv Litaliyänik lü ‚Roma’ e ‚Napoli’. In niver di ‚Freiburg im Breisgau’ ästudob nog zuo Larabänapüki e süriyi; dü yels, kü äcalob as vikaran e pädan, pato in ‚Wertheim’ nog Rusänapüki e Portugänapüki, pükis Yuropik retik valik e pükis plödü-Yuropik, sodas istudob pükis luldeglul ünü tim, keli älifädob in ‚Meszkirch’, ‚Krumbach’ e ‚Litzelstetten’. Zuo äjäfob, pato in ‚Baden-Baden’, ‚Kronau’, ‚Wertheim’, ‚Meszkirch’ e ‚Litzelstetten’, nog jäfediko me poedots Deutänapükik, latinik, e Vöna-Grikänapükik, i süriyik (‚Ephraem’), e nog me poedots netas votik mödik, kels ya dalabons klatädalautanis poedik in püks okas. Atosi valik ädunob ad logön, vio menatikäl valöpo in püks distikün notodon oki täläktiko, tikaviko, plagöfiko e lölöfiko lekaniko, ed ad gevön Volapüke obik mögiküno kaladi baluga, fasila, tikava, kludöfa, völada plagik e benotona, in kelos, ma cödot baicedik valikas manas gidik, nepaletöfik, relo e bolito nenbümicödikas netas valik, kels estudoms verätiko e staböfiko Volapüki obik, jenöfiko eplöpob.

Ab te Jafale mu gudike oba sötob danädön, das nebefeitoviko dalabob pükatäleni lönanatälik, dub kel, toä mem obik me balionats pükafomas e pükavödas petufledöl vemo iläsikon sekü maläd vemik, äfägob ad lärnön, ti klienäliko, mu fasiliko, fredaladäliko e ko laidäl dub säspetikam biedälik nonik nosükabik, pükis foginänik mödik dü lifayels 5id jü 50id oba. Tiket so pipreparöl e pösodiko vero rigik Volapüka (ibä äsevob nosi de büans valik obik: ‚Leibniz’, ‚Wilkins’, ‚Bachmaier’,… ed ad blebön rigik ävilob sevön nosi de atans) täno jenöfiko peledunon teoriko ün neit nenslipik pro ob it rätöfik ä klänöfik in pädanöp in ‚Litzelstetten’ nilü ‚Konstanz’, in gulacem teada telid, kel ätopon äl pädanöpagad, ün zän mäzula de 1879, ün neit kelik äbetikob vemo jäfiko valikis fopis, mistadis, döfis e miserabotis tima obsik. Ad temunön verato e koefön notodälo, vio fäkik ladäl obik äbinon ün neit seledik et, so kanob te sagön ko danöf e mük gretiküns: Jelalanan gudik oba änügivon ettimo obe süpo siti lölik valemapüka: Volapük. Tü 1879 mäzul 31 älautob täno balido penädo stabanomis gramata obik. De tim et esakrifob sekü löf rafinik pro menef mödo patomöl susnumiko mödikis timi, töbi, lafaneitis, töbidis logäma e nevas, sauni, monigetotis, potamonis mö milats makas, pädamesedis obik, mödükumami lemeseda, löda, gada, promuvi pro tiket volizüöl oba; demü atos dalob bo spelön, das menef nog dü lifatim oba jonülonös obe danöfi, das bo balionan,… vobädomös, das labobös bäldi nenkudik, du ob nu mutob töbiko lifön medü literat yunik oba! Öman liedo gebom tummilatis pro vims, mivims, e vimäds… du om as patronan ä mäzen tiketa benedik ökanomöv vedükön oki laidio nedeadöfiki. (‚Sapientibus sat’!)”

Jü top at dikot ela ‚Schleyer’ binon. Volalafabi in on pemäniotöli älautom balido tü 1878 yanul 18 pro el ‚Sionsharfe’; fat omik: tidan pepänsionöl: ‚Joh. Philipp Schleyer’ (†1891[[20]](#footnote-20)) äkopiedom oni pro om, äsä äpenetom ini delabuk. Lautot veitöfik in **penät lönik omik,** kel seaton fo ob, pedäton tü 1878 febul 14 e binädon me tonats 26. Givom in namapenäd sunädo blufis atosa, bi äpenom eli ‚magnificat’ se bib (‚Lucas’ I, 46-53) in püks Spanyänik, Litaliyänik, Linglänik, Fransänik, Rusänik e Deutänik ini lafab at. Nog ün yel ot äkoedom bükön pö kurabukatedan: ‚Tappen’ in ‚Sigmaringen’ prinsipis volalafaba. Penäto äläükom sui koräkablog ome pisedöl küpeti: „Tonat alik, kel tonon votiko, äsä logoton, binon: **simulian;** plon tonatas dö atos!” Äsedom ün 1878 volalafabi oka niveradekätanes fakultetas filosopik di ‚Barcelona’, ‚Torino’, ‚Cambridge’, ‚Paris’ e ‚Petrograd’, e leigo ün 1879 dekätane fakulteta katula-Godavik in ‚Tübingen’ e potaministerane reigänik: ‚Stephan’ in ‚Berlin’.

Ün yel: 1879 man nenfenik ädavobom „nulalotografi” pro vöds **Deutänapükik.** Änemom oni „fütüralafabi tikälik”. De tim at delabuks aiplu pelautons in „lotograf” at **oma,** e ninädons ün pasetikam tima i Volapükavödis mödik.

Onitedos nog reidanis obsik ad lelilön, das ‚Schleyer’ in penet delabuka okik dätü 1877 tobul 17 penom: „**Adelo** eprimob eli ‚Völkerdolmetsch’ in püks mäl (Deutänapük, Linglänapük, Litaliyänapük, Spanyänapük, Fransänapük, Rusänapük, pads 21)”.

‚Schleyer’ älekibom delabukis oka ko kurat kälöfikün. Demölo atosi binos plüo küpidik, das in ats **penet pülikün no** kanon patuvön dö **neitabelifots** mula: mäzul de 1879, pö kels om ma nun okik ga tiko kleiliko elogom siti Volapüka oka. Te dät: 1879 mäzul 31 löpo pemäniotöl ninädon peneti: „Primob adelo **Volapüki** oba e gramati (balugik, tikälik, plagöfik) in **stabaliuns!** ‚Deo gratias’!” Täno panunos tü prilul 2: „Vob len Volapük.” e tü prilul 3: „Vob len Volapük oba.” e sümiko tü prilul 5: „Vob len Volapük.” (Pö del at penetom: „**Sulamacini** fa ob pedatuvöli möbel: ‚Strobel’ emekom pro ob, ed eblinom adelo obe tä M. 7,20.”) Tü prilul 7 e 8 bejäfom dönu Volapüki: „Poyümots 47 e stabanoms 33.” Tü prilul 13 äpenetom: „**Eli ‚Magnificat’** (leigodolös eli ‚Lucas’ I, 46 e f.!) **e spikedis etradutob ini Volapük.**” Tü prilul 15 pamäniotos: „Vob len Volapük (koräk).” Tü prilul 16 fino penetom: „Disin Volapüka obik e gramata lü ‚Tappen’ (‚Sigmaringen’ in plinän: ‚Hohenzollern’).” Tü prilul 19: „Vob len Volapük, vödabuk, blufasets,… **Koräkablogi** balid Volapükadisina binü noms 80 egetob de ‚Tappen’!”

Tü prilul 29 nunom: „De ‚Tappen’ egetob samädis 900 **klinabükota** ela „Disin Volapüka” obik (pads fol).” Tü prilul 30 penom: „Samädis vel ela „Volapük” epotob potadilekale: ‚Stephan’ e samädis kil **kadämanes** regik nolavas in ‚Berlin’.”

De 1879 mayul 1 suvo penet komädon: „Vob len **vödabuk** Volapüka.” Tü mayul 3 äpotom i ledüke Badäna (länasöle oka) disinis tel Volapüka, kelis igo äkoedom „registrarön”.

Tü mayul 4 kurabukatedan: ‚Tappen’ de ‚Sigmaringen’ äkömom ed ätivom ko om demü bük **gramata** Volapüka.

Tü mayul 6 datuval älabom fredi ad tidön dü spat **balidnaedo** Volapüki dautes bofik domasanana okik: ‚Dr. Wilhelm Schachleiter’ se ‚Meszkirch’: ‚Therese’ e ‚Frieda’ (labü lifayels 19 e 14), pö kelos äpenetom: „Suemofs vifo, pato el ‚Therese’.” Tü 1879 mayul 10 äpenetom: „Eles ‚Therese’ e ‚Frieda Schachleiter’ penedi balid in Volapük dö lüköm ini top isik, drim de ‚Roma’ e visit.” Äpotom penädi oka ko **„lised vödas”.**

Tü 1879 mayul 12 penetom: „Efümükob vödis 1248 in Volapük,” e de tim et laivobom nenfeniko len vödabuk Volapükik, jüs fino ün gölayel de 1880 dabükot **balid** gramata e[[21]](#footnote-21) vödabuk Volapüka äpubon in komitätadabüköp de ‚Tappen’ (pads smalajölplifätik 136, M. 1,—)

Ad notükam gretikum disin omik Volapüka e volagramata pro kulivans netas valik tala balido pänotükon as läükot nüma: 35 ela ‚Sionsharfe’: mulagased fa om it (ün 1876) pifünöl (yelod: IV, 1879 mayul); ed ebo periodapenäd at ädünon ome jü pub „Volapükableda” balid (ün 1881 yanul) ad pakön tikis omik dö Volapük, mödalilo in fom poedik, ed ad kobükön kopädi Volapükanas fiedik.

„Disin” ninädon ya „Volapükablufis” degbal, sevabo: plägasets yumü stabanoms 30. De nüm: 32 jü fin poyümots valik panumädons e paplänons.

Tü 1885 mäzul 1 ‚Schleyer’ äpübom nümi **lätik** ela ‚Sionsharfe’ oka. Maläd e vobod votik äkodädons atosi. Flens gaseda ye äplöpons ad vobädön de 1886 yanul 1 fövoti ona, kel i äpubon pö ‚August Feyel’ in ‚Überlingen’. In nüm: 3 ela ‚Neue Sionsharfe’: mäzulanüm yeloda: 1886, pad: 48 poedot sököl komädon:

**„AN SCHLEYER.**

Sänger dort in weiter Ferne, warum ist der Harfe Klang

Und dein süszes Lied verstummet? warum schweigst du schon solang?

Ach! vergebens harrten alle, die sich deines Sangs gefreut;

Stille ist es nun geworden, schon so lange, lange Zeit.

Endlich kommt herbei die Kunde, dasz der Harfe Saitenspiel

Unser Sänger hat verlassen, sich zu weihen anderm Ziel.

Da er oftmals ist gewandert, durch so manches fremde Land,

Fühlt er, wenn mit vielen Sprachen sein Genie auch ist bekannt,

Doch gar bitt’res Leid im Herzen, dasz, seit Babels Turm gebaut,

Keine Sprache mehr zu finden, die da allen sei vertraut.

Und nach langem, tiefem Sinnen ward es seinem Geiste klar,

Und es wurden ihm die Zeichen nun auch plötzlich offenbar.

Dann auch fanden sich die Worte — so entstand die Volapük —

Er erfaszt sein Werk, das grosze, nun mit einem weiten Blick.

Viel gelehr’ge Schüler sammeln sich um ihn in weitem Kreis,

Und so forscht er immer weiter, und sein Werk belohnt den Fleisz.

Eine Zukunft wird es haben, vielbedeutend für die Welt,

Ob auch manchem kleinen Zweifler diese Sprache nicht gefällt.

Seine Kraft doch wird er opfern, seines Lebens treuen Rest;

Denn sein Geist, der immer forschet, nicht den Körper ruhen läszt.

O! so mög’ er denn vollenden noch sein Werk! In spät’ster Zeit

Wird es seinen Namen krönen mit des Ruhms Unsterblichkeit.

Doch damit die ‚Sionsharfe’ nicht verstumme ganz und gar,

Boten liebevolle Hände sich zu ihrem Dienste dar,

Und die Sänger sammeln wieder sich zu einem festen Bund.

Du, der Harfe erster Meister! segne sie mit Herz und Mund,

Dasz es weithin wieder töne über Berge, Meer und Land,

Nur dem Reinen, Edlen, Schönen voll Begeist’rung zugewandt.

Mögen and’re Lieder singen, welche schmeicheln ird’schem Wahn;

Uns’re Lieder, uns’re Klänge ziehen freudig himmelan!

Sind ein Vorspiel von dem ew’gen Lied’ im weiten Himmelsraum,

Wo in Wahrheit sich verwandelt uns’rer Dichtung holder Traum![II)](#noet_tel_Vp)

Miesbach (Bayern). Wilhelmine Seiler, geb. Adam.”

**Küpets fa el Sleumer.**

I) Bi datuval Volapüka lememom söri balik at oka (älabom näi of nog blodis kil) so suvo in delabuks okik, ed älügom poso so lunüpiko demü of, bo vipabos, das is lifanotets anik dö of sökons. Pänemof: ‚**Katharina** Rosalia’ e pimotof tü 1839 yulul 10. Äjäfof me konöm bloda okik, do idesinof, ven älabof lifayelis 18, ad vedön jikleudan. In delabuk ela ‚Schleyer’ pepenos tü dät: 1873 mäzul 2: „Sör: ‚Katharina’ malädik,” tü mäzul 3: „Sör: ‚Katharina’ nog in bed,” tü mäzul 4: „Sör: ‚Katharina’ edelirof de äneit jü adel, petakedükof medü lavs, gödo: vemo malädik: fif, dol stegöfik in donakoap; ofe deadamasakram peditibon fa pädan: ‚Reinhard’ de ‚Boll’; haratasanan: ‚Galler’ peramenom; käl kälöfik fa jinef (sevabo: ‚Katharina Hartmann’ pemotöl tü 1832 novul 11 ed edeadöl tü 1915 prilul 4 in ‚Konstanz’; äkonömof lomü datuval sis 1873) ed ob.” Tü mäzul 5 ‚Schleyer’ penom b.v.: „Ti esukubob.” Tü mäzul 6 pepenos: „Gödo sör: ‚Katharina’ vemo malädik; eramenob pö nifadavir pro of leüledi lätik; ko smilil süliko fredik äpedof desiriko ditibabügili ko hostid saludik len lips okik; desirof ad lüvön bedi, kömof ini kovenastul obik (kel binon pro ob, äsva pesaludükon!); lesuid, pablinof dönu ini bed, vedof takedikum. Dü göd lölik e büzedel äpreparof oki gloriko ad deadön, äspikof ko vög Löpa-Deutänik, nämöfik, laodik (äsä votiko neai ispikof so), äsvo se vol votik: „ ‚Deo gloria! Deo gratias’! no drenolsös demü ob, plekolsös!” Vöd lätik ofik äbinon tinelaodiko: „Nämik!” Pos sloks tel u kil lad gudik ofa äsukubon.

O! konsälis gudik kiomödik ägivof obe notodäliko e stedäliko, ladöfo! Äsmililölo ko cügs redik äseatof su deadamabed, voiko jivirganiko. Takädofös ko ‚anima vere candida’ at in püd sülik!” — Dels sököl pefulükons me penets tefü jideadan. Bevü ats ‚Schleyer’ nunom tü mäzul 8 **pubi** edeadölana, kel pisepülof ün del büik. Äpoedom sepülakaniti ad deadam ofa binü strofs 12 jü mäzul 15.

Ced ela ‚Schleyer’, das sör okik edeadof ün „lifüp Kristusa”, sevabo ven älabof lifayelis 33, äbinon pöl semik, bi jiedeadölan älabof lifayelis plu kildegkilis e lafiki.

II) Tradutod:

**LÜ ‚SCHLEYER.’**

O kanitan in fag fagik! kikodo ton hapa

e lid svidik ola emüätikons-li? kikodo seilol-li ya so lunüpo?

Ag! vaniko valikans ästebedons desiro, kels ifredons dö kanit olik;

nu evedos stilik, ya sis tim so vemo lunik.

Fino nun isio kömon, das stinapläyi hapa

kanitan obas elüvom, ad dedietön oki diseine votik.

Bi suvikna etevom da län foginik so ömik,

senälom, do sevom dub tälen okik pükis mödik,

ga liedi go bidäliki in ladäl, das, sisä tüm di ‚Babel’ pibumon,

pük nonik binon tuvovik, kel sevädon pö valikans.

E pos datik lölöfik lunik ävedos kleilik in tik oma,

ed i mals nu ädasevädikons süpo po om.

Täno i vöds pädatuvons — so Volapük ädavedon.

Dasumom nu vobodi sublimik oka ko dasev lölöfik.

Tidäbs nolavik mödik kobikons zü om in sirkül veitik,

e so vestigom ai mödikumo, e vobod omik mesedon zili.

Olabon fütüraseki, pro vol vemo veütiki,

ifi pük at no pliton dotimani smalik ömik.

Nämi oka ga osakrifom, e reti fiedik lifa okik;

ibä tikäl omik, kel ai vestigon, no leadon takädön koapi.

O! fiduinomös nog vobodi oka! Ün tim latikün

okronon nemi oma me fam nedeadöfa.

Ab dat el ‚Sionsharfe’ no ömüätikon lelöliko,

nams löfafulik älofons okis ad dün ona,

e kanitans kobükons okis dönu ad fed nämöfik.

O ol! mastan balid hapa! benedolös oni me mud e ladäl,

dat dönu tononös veitio love bels, mel e län,

e padedietonös ko lanäl fulik te kline, nobe e jöne!

Letolös, das votikans kanitons lidis, kels flätons pölacedis taledik!

Lids obsik, vögs obsik lüodikons frediko sülio!

binons prelud kanita laidüpik in sülaspad veitik,

kö ad jenöf cenon drim keinik poedota obsik!

‚Miesbach’ (Bayän). ‚Wilhelmine Seiler’ pem<otöl>. ‚Adam’.

Se *Volapükagased pro Nedänapükans.* Yel: 1938. Pads: 26—30, 34—38.

**Wie kam der Erfinder der Weltsprache zur Idee seiner Erfindung**

(Von Schleyer J. M., dat. vpa.)

So ein armer Landpfarrer einer armen Gemeinde muss allen alles werden. Heute stürzt ein Kind ins Wasser und ertrinkt; der Landpfarrer muss an ihm die ersten Wiederbelebungs­versuche machen. Morgen brennt ein Taglöhnerhäuschen ab; er muss die armselige Ortsfeuerwehr kommandiren. Ein anderesmal stürzt ein Zimmermann vom Neubaue, oder die Frau Lehrerin die hohe Schulstiege herab und beide verbluten sich fast, bis der Arzt erscheint; der Pfarrer muss die erste, dringendste Hilfe leisten. Wieder ein andermal findet man auf freiem Felde einen erfrorenen Trunkenbold; der Pfarrer sucht auch seine Seele wieder ins Leben zurückzurufen; jedoch vergeblich. Der Wittwe des Verunglückten wird vom Schacherer und Wucherer der letzte Ziegel auf dem Dache verkauft. Vor Verzweiflung will sie sich in den See stürzen. Der Pfarrer erfährt es, und steigert bei der Versteigerung tüchtig mit, ersteigert ihre Lieblingssachen: Kruzifix, Heiligenbilder, Gebetbücher, Vorhänge und die unvermeidliche Kaffeemühle…, um nach der Versteigerung der Hocherstaunten alles zu schenken. Alles dieses und noch mehr andere derartige begegnete mir, dem Erfinder der Weltsprache, auf meinen letzten, armen Dorfpfarreien, wo ich achtzehn lange und schwierige Jahre zubrachte, buchstäblich, wie ich es hier schilderte.

Auf meiner vorletzten Pfarrei zu Krumbach, bei Messkirch, in einem Seitenthale des oberen Donauthales, wo ehemals die Herren von Waldsperg auf einer Ritterburg hausten, hatte ich als dürftige Pfarrkinder unter Anderen einen sehr bedauernswerten Wittwer zum Nachbar. Derselbe verarmte derart, dass er sein Hüttchen verkaufen musste und in seinem ehemaligen Häuschen nur noch ein elendes Kämmerchen zur Wohnung erhielt. ‚Schwarz‘ war sein Name, und immer schwärzer gestaltete sich sein Schicksal. Zwar hatte er noch zwei erwachsene, arbeitsfähige Kinder. Allein die Tochter ging den Weg der Sünde, und starb an den Folgen der Sünde.

Eines Morgen verbrannte ihm zu allem Elend noch sein Zimmerchen mit allen den wenigen Habseligkeiten. Wir Nachbarn eilten herzu und löschten aus Leibeskräften; desgleichen meine einzige Schwester. Sie schlüpfte mit bloßen Füßen in ihre Schuhe, der Morgen war kalt. Im Bachwasser stehend erkältete sie sich derart, dass sie bald darauf schwer erkrankte, und in ihrem 33. Lebensjahre zu meinem unsäglichen Schmerze starb; denn wir hatten uns überaus lieb gehabt.

Als das Zimmerchen des Nachbars Schwarz abgebrannt war, gefiel es selbstverständlich seinem Sohne nicht mehr beim gänzlich verarmten Vater. Er zog nach Amerika. Beim Abschiede vom Vater sagte dieser zu seinem Sohne: „O mein Lieber! wenn Du in Amerika bist und verdienst etwas, so denke doch auch an mich, und schicke mir hie und da einige Kreuzer Geld!“ Der Sohn versprach dieses unter Thränen. Er kam glücklich über den Ozean, bekam drüben Arbeit in einem Bergwerk, verdiente Geld; schien aber den armen Vater vergessen zu haben. Wo anders suchte dieser Rat, als beim Nachbar Pfarrer? Mit rotgeweinten Augen kam er eines Tages zu mir und klagte: „Kinder habe ich großgezogen; aber ich bin nun gänzlich verlassen. Meine Tochter todt, mein Sohn in Amerika, undankbar gegen mich.“ — Ich suchte ihn zu trösten und sagte: „Euer Sohn war ja immer brav; er kann darum nicht undankbar sein. Habt Ihr ihm denn nie nach Amerika geschrieben, und Eure Not geklagt?“ Er sagte: „Ja freilich; aber er gibt mir nie eine Antwort.“ Hierauf entgegente ich ihm aus vielfacher Erfahrung ähnlicher Art: „Lieber Nachbar! es kommt häufig vor, dass von Amerika heraus oder hinein Englisch zu schreibende Adressen deutsch geschrieben werden, und zwar so, wie man sie liest, statt wie man sie schreibt und druckt. So wird z.B. das Wort ‚Iowa‘ oft auf Adressen ‚Eiauä‘ geschrieben… Postbeamten nun, denen die Adresse unverständlich ist, werfen solche Briefe kurzweg auf die Seite. Wenn Ihr, lieber Freund! dann wieder einen Brief nach Amerika schreibt, so bringt mir die Adresse eures Sohnes, welche Ihr vielleicht bei Verwandten in Nachbarorten auftreibt! Ich will Euch dann immer die Adresse in richtiger Weise englisch schreiben.“

Nachbar Schwarz dankte mir gerührt, folgte meinem Rate, machte die Adresse seines Sohnes ausfindig, und brachte sie mir. Ich fand sie wirklich nach englisch-amerikanischer Schreibung greulich entstellt und deutsch geschrieben, wie man sie las, nicht aber, wie man sie schrieb oder druckte. (NB. Jedem, der nach Amerika zieht, soll man streng anempfehlen, seine neue Adresse zu schreiben, wie man sie druckt, nicht, wie man sie liest!) Ich rekonstruierte die verpfuschte Adresse nach bestem Ermessen in englischer Weise, und riet dem Nachbar Schwarz, sofort seinem Sohne nach Amerika zu schreiben. Er tat es; die Adresse schrieb ich richtig; der Brief kam im fernen Westen an, und bald darauf antwortete der wirklich nicht undankbare Sohn seinem Vater mit Brief — und Geld. Fortan musste ich infolge dessen alle Briefe nach Amerika dem Nachbar Schwarz und anderen Krumbachern, sowie noch manch Anderen der ganzen Umgebung selber adressiren.

Da kam mir der Gedanke, wie mit Blitzgewalt: „O wie schön wäre es doch, wenn alle Erdbewohner, statt der heillos verzwickten, unlogischen und unpraktischen Orthografien, wie es ganz besonders die englische, aber auch die russische, polnische, schwedische und deutsche… sind, ein gemeinsames Alfabet, eine gleichmässige Orthografie, ja sogar vielleicht eine einzige allgemeine Korrespondenzsprache besäßen! Wie vieler Ärger, Schmerz, Zeit und Geldverlust… würde da vermieden! denn, nach nur oberflächlicher Berechnung, laufen, infolge der unglückseligen Orthografien der Natursprachen alljährlich beim Oberpostamte zu Washington vier und eine halbe Million unbestellbarer Briefe ein, darunter gegen vierzigtausend Wertstücke, einzig zufolge solch heilloser Adressen, wie sie Vater und Sohn Schwarz einander schrieben, bevor ich hilfreich ins Mittel trat. Welche überreiche Quelle von Verlusten, Ärger und Ungeduld aller Art, wofür der schlichte Bürgersmann nichts kann, dagegen alle jene Gelehrten, die fort und fort am alten Schlendriane hängen bleiben, und nichts von einer Weltorthografie und Weltsprache wissen wollen. Auf diese Weise reifte in mir aus reiner Liebe zu meinen Pfarrkindern sowie zu allen Menschen, welche in die weite Welt hinaus müssen, oder in die weite Welt zu korrespondieren haben, die Idee einer Allsprache, wie sie nun in der achten Auflage meiner Grammatik tatsächlich vorliegt.

Vorbereitet wurde die Ausführung dieser Idee durch ein (mit gutem Gewissen kann ich sagen) dreiundvierzig Jahre langes, fast ununterbrochenes Sprach- und Sprachen-Studium. Denn als ich im Jahre 1879 mit meinem ersten Weltsprachealfabete und bald darauf mit der Weltsprachegrammatik öffentlich auftrat, war ich 48 Jahre alt. Mit meinem 5ten Lebensjahre aber begann ein wackerer Vikar meiner Heimatspfarrei Lauda (denn damals war Oberlauda noch ein Filial von Lauda) mit mir nach dem guten, alten Bröder ‚mensa‘, ,mensae‘… zu deklinieren. So ging es im Lateinischen weiter, bis mein lieber Onkel Franz Martin Schleyer vom 11. Jahre an, in Königheim mich im Lateinischen und Deutschen weiter ausbildete; denn er war, glücklicherweise, ein sehr guter Grammatiker, wie mich manche einen ‚geborenen Grammatiker‘ nennen. Am Gymnasium Tauberbischofsheim lernte ich dann, wie alle Gymnasiasten, französisch, griechisch und hebräisch; dazu noch freiwillig, durch die Güte des damaligen Professors und jetzigen Oberschulrathes und geheimen Rates Blatz in Karlsruhe, der eine der besten ausführlichen deutschen Grammatiken schrieb, noch außerdem die englische und italienische Sprache, letztere, um mich schon recht frühzeitig auf eine italienische Reise bis Rom und Neapel… vorzubereiten. Auf der Universität Freiburg studirte ich dazu noch Arabisch und Syrisch; in meinen Vikars‑ und Pfarrverwesers-Jahren, besonders in Wertheim noch russisch und portugiesisch; alle übrigen europäischen und außereuropäischen Sprachen bis zur Zahl fünf und fünfzig in Neukirch, Krumbach und Litzelstetten. Außerdem betrieb ich besonders in Baden-Baden, Kronau, Wertheim, Messkirch und Litzelstetten noch lebhaft deutsche, lateinische und griechische, auch syrische (Ephräm) Poesie, sowie die Poesieen vieler anderen Völker, die bereits poetische Klassiker in ihren Sprachen besitzen. Alles dies that ich, um zu sehen, wie der Menschengeist sich allenthalben vernünftig, logisch, praktisch und künstlerisch vollendet in den verschiedensten Sprachen ausspricht, und um meiner Weltsprache so viel als nur immer möglich den Stempel der Einfachheit, Leichtigkeit, Logik, Konsequenz, des praktischen Wertes und des Wohllautes aufzuprägen, was mir, nach dem einstimmigen Urteile aller gerechten unparteiischen, religiös und politisch vorurteilslosen Männer aller Völker, die mein Volapük wirklich und gründlich studirten, in der Tat gelungen ist. Meinem allgütigen Schöpfer allein aber habe ich es zu danken, dass ich unstreitig ein angeborenes Sprachtalent besitze, wodurch mein Erlernen der vielen fremden Sprachen von meinem 5ten bis 50sten Lebensjahre, wo mein äußerst überladenes Gedächtnis mit den Millionen von Sprachformen und -wörtern infolge einer schweren Krankheit bedeutend nachließ, ein fast instinktmäßiges, ungemein leichtes, freudiges, und durch keine bittere Enttäuschung auszutilgendes geworden ist. Die also vorbereitete, subjektiv rein originelle Idee der Weltsprache (denn ich wusste von all meinen Vorgängern Leibniz, Wilkins, Bachmeier… nichts, und wollte, um originell zu bleiben, nichts hievon wissen) ist dann wirklich zur theoretischen Ausführung gelangt in einer mir selber rätselhaften, ja geheimnisvollen schlaflosen Nacht im Pfarrhause zu Litzelstätten, Konstanz im Eckzimmer des II. Stockes, das in den Pfarrgarten hinausschaut, Mitte Monats März 1879, in welcher Nacht ich sehr lebhaft über alle Torheiten, Missstände, Gebrechen und Jämmerlichkeiten unserer Zeit nachdachte. Um der Wahrheit Zeugnis zu geben, und offen zu gestehen, wie mir in jener seltsamen Nacht zu Mute war, so kann ich in aller Dankbarkeit und Demut, nur sagen: Mein guter Genius gab mir damals plötzlich das ganze System der Weltsprache Volapük ein.

Am 31. März 1879 stellt ich dann erstmals die Hauptgrundzüge meiner Grammatik schriftlich zusammen. Seither habe ich aus reiner Liebe zur vielgeplagten Menschheit zahllos viele Zeit, Mühe, halbe Nächte, Nervenkraft, Gesundheit, Geldmittel (Portoauslagen in Tausenden von Mark…) meine Pfarrpfründe, Aufbesserung, Wohnung, Garten, Avancement für diese meine weltumspannende Idee zum Opfer gebracht, oft nur Spott, Hohn, Sorgen geerntet, und dürfte wohl hoffen, dass die Menschheit sich mir noch bei Lebzeiten dankbar erwiese, etwa durch einen Millionär…, der mir ein sorgenfreies Alter verschaffen möchte, während ich jetzt mühsam von meiner jungen Litteratur leben muss. Mancher verwendet lieber Hunderttausende für Launen, Spleen und Schrullen…, während er sich als Patron und Mäcenas einer segensreichen Idee für immer unsterblich machen könnte. (Sapienti sat!)

Konstanz, 1888

**How the Inventor of the World Language Arrived
at the Idea of his Invention**

(by Schleyer J. M., datuval volapüka; translated by Hermann Philipps, 2002)

A poor country clergyman of a poor parish must be everything to everybody. Today, a child falls into the water and drowns; the country clergyman must make the first attempts at resuscitation. Tomorrow, a day labourer’s cottage burns down; the parish priest has to command the pitiful village fire brigade. Another time, a carpenter falls from the scaffold or the schoolmistress from the steep school staircase, both nearly bleeding to death before the doctor arrives; the parish priest must render the first and most urgent aid. Yet another time, a frozen drunkard is found in the open fields; again, the parish priest attempts at bringing his soul back to life, but in vain. The haggler and usurer sells the last tile from the widow’s roof. Out of despair, she is on the point of throwing herself into the lake. The parish priest learns of it, and keenly participates in bidding at the auction, buying her favourite things: crucifix, pictures of saints, prayer books, curtains and the inevitable coffee grinder…, to give everything back to the much surprised woman after the auction. All this and much more of such befell me, the inventor of the World Language, at my last, poor village parsonages, to the letter as depicted here.

At my second to last parsonage at Krumbach near Messkirch, in a side valley of the upper Danube vale, where once the lords of Waldsperg dwelt at a knight’s castle, I had, amongst other needy parishioners, a most pitiable widower as a neighbour. The same became impoverished so much that he had to sell his hovel and only was left a miserable closet in his own former house, to live in. His name was ‘Schwarz’ (Engl.: black), and indeed his lot blackened ever more. At least he had two grown-up children who were able to work. However, his daughter trod the path of sin, and died from the consequences of sin.

One morning, adding to his wretchedness, his closet burned down with all his few belongings. We, his neighbours, came running and extinguished the fire with might and main; likewise my only sister. She put on her shoes over the bare feet, the morning was cold. Standing in the water of the brook, she caught a cold such that she came down with a serious illness and died soon after in the 33rd year of her life to my unspeakable grief because we had been very dear to each other.

After the closet of Neighbour Schwarz had burned down, naturally his son didn’t like it any longer with his wholly empoverished father. He went to America. At their parting, the father said to his son: “Oh my dear sun! when you are in America and earn some money, so please also think of me, and send me some kreutzers of money every now and then!” The son promised this under tears. He happily got over the ocean, yonder found work in a mine and earned money, but he seemed to have forgotten his poor father. Where else did the latter seek counsel but with his heighbour, the parish priest? With eyes red from crying, he came to me one day and lamented: “Children I have raised but now I am wholly forsaken. My daughter dead, my son in America, ungrateful to me.”

I tried to console him and said: “Your son has ever been a good boy, so he cannot be ungrateful now. Have you never written to America to tell him of your distress?” He said: “Yes certainly; but he has never answered me.” On this, I replied from multifold experience of a similar kind: “Dear Neighbour! it happens often that from or to America addresses which need to be written in the English manner, are written in the German way such as they are read and not as they are written or printed. For example, the word ‘IOWA’ often is written ‘Eiauä’ in addresses… Now, post-office clerks to whom the address is incomprehensible will simply throw such letters to the side. If you, dear Friend! will next write a letter to America, so come to me with your son’s address which you mayhap can get from kinsmen in neighbouring villages! I will then always write the address for you in the right English way.”

Much moved, Neighbour Schwarz thanked, followed my advice, found out the address of his son and took it to me. And indeed, I found it dreadfully deformed compared to English-American spelling, and written in the German way as it was read but not it was to be written or printed. (NB. Everybody going to America should earnestly be admonished to write his new address as it is printed, not as it is pronounced!) I reconstructed the botched address as best I could in the English way and advised my neighbour to write to his son in America forthwith. He did so; I wrote the address as it ought to be; the letter arrived in the Far West, and soon after, the son, who in fact was not ungrateful, answered his father with a letter — and money. Henceforth, owing to this, it was me who had to write the addresses of all letters to America not only of Neighbour Schwarz and other Krumbach people but also of many others from the whole region.

It was then that it occurred to me with the force of a thunderbolt: “Oh, how wonderful would it be if all inhabitants of the earth possessed — instead of the hopelessly complicated and impractical orthographies such as the English one, but also the Russian, Polish, Swedish and German… — a common alphabet, a regular, uniform orthography, and indeed perhaps one single universal language of correspondence! How much vexation, pain, loss of time and money… could then be avoided! because as a consequence of the calamitous orthographies of natural languages, every year, by cursory calculation, some four and a half million undeliverable letters arrive at the Main Post Office at Washington and amongst these some forty thousand items of value, and this solely as the result of such muddled addresses as father and son Schwarz had exchanged before I helpfully stepped in. What an immense source of loss, vexation and impatience of all kinds, this not being the fault of the simple townsman but of all those scholars who for ever and ever jog along in the same old way, and do not want to know of a World Orthography and World Language. In this manner — from pure love to my parishioners and to all people who need to go out into the wide world, or have to do correspondence with the wide world — matured within me the idea of a universal language as now in fact exists in the eighth edition of my grammar.

As I can say with good conscience, the ground for the execution of this idea was prepared by an almost uncessant linguistic study and study of languages of three and forty years. Because, when in the year of 1879 I came out to the public with my first World Language Alphabet, shortly afterwards followed by my World Language Grammar, I was 48 years of age. In my 5th year of life, an upright vicar of my native parish of Lauda (because at that time Oberlauda was a daughter church of Lauda) began to do declinations with me such as ‘mensa’, ‘mensae’… as prescribed by the good old Bröder Latin primer. So it went on with Latin until, from my 11th year onwards, my dear Uncle Franz Martin Schleyer continued my education in Latin and German at Königheim; fortunately he was a very good grammarian, like I am called by some a ‘born grammarian’. At the grammar school of Tauberbischofsheim I then learned, like all grammar school pupils, French, Greek, and Hebrew; in addition, through the kindliness of the then Professor and now Senior Schools Inspector and Privy Councillor Blatz of Karlsruhe who wrote one of the best detailed German grammars, I voluntarily learnt the English and Italian languages, the latter to timely prepare myself for an Italian travel which would lead me as far as Rome and Naples…. At Freiburg University I later studied Arabic and Syriac; during my years as vicar and locum tenens, especially at Wertheim, also Russian and Portuguese; all my other European and extra-European language up to the number of five and fifty I studied at Neukirch, Krumbach and Litzelstetten. Additionally, I eagerly pursued German, Latin, Greek, and even Syriac (Ephräm) poetry and the poetries of many other peoples who do already possess poetic classics in their languages. All of this I did in order to see how the human spirit expresses itself everywhere intelligently, logically, practically and artistically perfect in the most diverse languages, and in order to emboss my World Language with the stamp of simplicity, ease, logic, consistence, practical value and melodiousness to the highest degree possible, in which I have indeed succeeded according to the unanimous judgement of all just, impartial, religiously and politically unprejudiced men of all peoples who have truly and thoroughly studied my Volapük. I solely owe it to my all-gracious Creator that I incontestably possess an innate gift for languages through which the acquisition of the many foreign languages from my 5th year up to my 50th year of life — when my extremely overburdened memory with the millions of language forms and words, was considerably weakened owing to a severe illness — has become almost instinctive, very easy, pleasurable and not to be obliterated by any bitter disaoppointment. The idea of the World Language, thus prepared and being subjectively fully original (because I knew nothing of any of my predecessors Leibniz, Wilkins, Bachmeier…, and, to remain original, did not want to know of such) then came indeed to theoretical effectuation in a sleepless night, enigmatic to myself and even mysterious, at the presbytery of Litzelstätten, Constance, in the corner room of the 2nd floor which looks out into the garden, mid-March, 1879, in which night I vividly contemplated all the follies, grievances, afflictions and wretchedness of our time. To bear witness to the truth and to confess freely how I felt in that strange night, I can only say in all gratitude and humility: My good genius like a flash of lightning embued me with the full system of the world language ‘Volapük’.

On March 31st, 1879, I then put together in writing the main traits of my grammar. Since then, compelled by pure love to the much-afflicted mankind I have sacrificed countlessly much time, effort, half nights, nervous energy, health, funds (postal expenses of thousands of marks…) my prebends, increase, habitation, garden, advancement for this my world-spanning idea, often only earning scorn and derision, and I should well hope that mankind might show its gratitude in my own lifetime yet, perhaps by way of a millionaire… who would furnish me with the means for an old age free of care, whereas I now arduously must live from my young literature. Many a person rather spends hundreds of thousands for whims, fads and quirks…, while he could immortalize himself forever as a patron and Maecenas of a beneficent idea. (Sapienti sat!)

Konstanz, 1888

**CÓMO LLEGÓ A CONCEBIR SU INVENCIÓN EL INVENTOR
DE LA LENGUA UNIVERSAL**

por J. M. Schleyer, *Datuval volapüka*[[22]](#footnote-22)

*Traducción castellana con notas, hecha por Elías Jiménez, del escrito original alemán de Schleyer donde describe cómo llegó a la invención del Volapük, 2018*

Así es como un sacerdote pobre de pueblo de una parroquia pobre tiene que serlo todo para todos. Hoy un niño cae al agua y se ahoga, el sacerdote del lugar ha de hacer los primeros intentos de reanimación. Mañana la choza de un jornalero se incendia, el párroco tiene que dirigir el deplorable cuerpo de bomberos del pueblo. En otra ocasión, un carpintero se cae del andamio o la maestra de la alta escalera de la escuela, ambos se van desangrando hasta la muerte antes de que el doctor llegue, el párroco ha de prestarles la primera y más urgente asistencia. En otro momento, en cambio, se encuentra a un borracho congelado en campo abierto; de nuevo el párroco trata de devolver su alma a la vida, pero en vano. El comerciante aprovechado y el usurero venden la última teja del tejado de la viuda de la víctima, que en su desesperación quiere hundirse en el lago; el párroco se entera y toma parte hábilmente en la subasta, comprando las pertenencias más queridas de la viuda: el cruciﬁjo, imágenes sagradas, libros de oración, cortinas y el inevitable molinillo de café…, para devolvérselo a la sobremanera estupefacta mujer después de la subasta. Todo esto y muchas otras cosas semejantes me sucedieron a mí, el inventor de la lengua universal, en mis últimas y pobres parroquias de pueblo, donde viví ocho largos y difíciles años, literalmente como lo he descrito aquí.

En mi penúltima parroquia en Krumbach, cerca de Messkirch, en un valle lateral de la cuenca superior del Danubio, donde una vez los señores de Waldsperg moraron en un castillo feudal, tenía por vecino, entre otros parroquianos necesitados, un viudo muy digno de compasión, quien se empobreció tanto, que hubo de vender su choza y tan solo le quedó para vivir un mísero cuartucho en su anterior casa. Su apellido era Schwarz[[23]](#footnote-23), y su suerte volvíase cada vez más negra. Tenía este dos hijos adultos, aptos para trabajar. No obstante, la hija siguió el camino del pecado, y murió por las consecuencias del pecado.

Una mañana, para su mayor desgracia, el cuartucho se incendió con todas sus pocas pertenencias. Nosotros, sus vecinos, fuimos corriendo y extinguimos el fuego con todas nuestras fuerzas, igualmente lo hizo mi única hermana. Ella se calzó sus zapatos en sus pies desnudos, la mañana era fría. Estando de pie en el agua del arroyo, se resfrió de tal modo, que cayó gravemente enferma y murió poco después a los 33 años de edad para mi indecible dolor, pues nos habíamos querido mucho.

Después de que el cuartucho del vecino Schwarz se hubiese quemado, naturalmente el hijo no quiso vivir más tiempo con su empobrecido padre. Marchose a América. A su partida el padre le dijo esto a su hijo: «¡Oh mi querido hijo! Cuando estés en América y ganes algo de dinero, por favor, piensa también en mí y mándame de vez en cuando algunos kreutzers[[24]](#footnote-24)!» El hijo prometióselo entre lágrimas. Cruzó felizmente el océano, allí encontró trabajo en una mina y ganó dinero, pero parecía haberse olvidado de su pobre padre. ¿Dónde buscó éste consejo, sino en su vecino, el párroco? Con los ojos rojos por el llanto, vino a mí un día y se lamentó: «He criado a mis hijos, pero ahora me encuentro enteramente abandonado. Mi hija muerta; mi hijo en América, ingrato conmigo». Traté de consolarle y le dije: «Él siempre ha sido un buen hijo, por ello no puede ser ahora un ingrato. ¿No le has escrito nunca a América para lamentarte de tu penuria?» Él dijo: «Sí, por supuesto, pero nunca me ha dado ninguna respuesta». Acto seguido, le respondí a partir de mi mucha experiencia en casos semejantes: «¡Querido vecino! Sucede a menudo que las direcciones escritas dentro o fuera de América, que han de escribirse en inglés, se escriben en alemán, es decir, como se leen, en vez de como se escriben o imprimen. Y así, la palabra *Iowa*, por ejemplo, frecuentemente se escribe *Eiauä* en las direcciones… Los empleados de correos, entonces, para quienes la dirección es incomprensible, echan a un lado de buenas a primeras unas cartas tales. Si tú, ¡querido amigo!, escribes de nuevo una carta a América, ¡tráeme la dirección de tu hijo, que quizás puedas obtener de tus parientes en los pueblos vecinos! Siempre te escribiré la dirección en la ortografía inglesa más correcta».

El vecino Schwarz me dio las gracias conmovido, siguió mi consejo, averiguó la dirección de su hijo y me la trajo. A decir verdad, la encontré horriblemente desﬁgurada según prescribía la ortografía anglo-americana, y escrita en alemán como se leía, pero no como se escribía o imprimía. (N.B. ¡A todo el que vaya a América se le debería advertir con severidad que escriba su nueva dirección tal y como hay que escribirla, no como se lee!) Reconstruí su deformada dirección tal y como debía ser en la ortografía inglesa, según mi mejor juicio, y aconsejé al vecino Schwarz escribir de inmediato a su hijo en América. Así lo hizo, escribí la dirección correcta, la carta llegó al lejano Oeste, y poco después el hijo, en verdad no ingrato, respondió a su padre con una carta… y dinero. En lo sucesivo, por consiguiente, yo había de dirigir todas las cartas hacia América del vecino Schwarz y otros paisanos de Krumbach, además de muchos otros de los alrededores del lugar.

Entonces me vino a la mente este pensamiento como un relámpago: «¡Oh cuán bello sería que todos los habitantes de la tierra poseyeran en vez de las horriblemente complicadas, ilógicas y en modo alguno prácticas ortografías como muy especialmente la inglesa, pero también la rusa, polaca, sueca y alemana… un alfabeto común, una ortografía uniforme, incluso quizás una única lengua universal de correspondencia! ¡Cuánta aﬂicción, dolor, tiempo, y pérdida de dinero se podrían entonces evitar!, porque como consecuencia de las desastrosas ortografías de las lenguas naturales, cada año, sólo según cálculos superﬁciales, llegan a la oﬁcina principal de correos en Washington unos cuatro millones y medio de cartas que no se pueden distribuir, y entre ellas alrededor de unos cuarenta mil objetos de valor; y todo ello tan solo como consecuencia de unas direcciones confusas, como la que el padre y el hijo Schwarz se escribían el uno al otro, antes de que yo interviniera con gran provecho para ambos. ¡Qué fuente tan abundante de pérdidas, enfados, e impaciencia de toda clase, contra lo cual el simple hombre de condición humilde nada puede hacer, al contrario de aquellos eruditos que se quedan adheridos a la vieja rutina, y no quieren saber nada de una ortografía universal ni de una lengua universal!» De esta manera, por el puro amor a mis feligreses, además de a toda la gente que debe ir afuera al gran mundo, o ha de mantener correspondencia con el mundo entero, maduró en mí la idea de una lengua para toda la humanidad como ahora de hecho existe en la octava edición de mi gramática.

La ejecución de esta idea fue preparada (puedo decirlo con buena consciencia) por un estudio casi ininterrumpido de muchas lenguas, a lo largo de cuarenta y tres años. Así pues, cuando me presenté en público en 1879 con mi alfabeto de la lengua universal y poco después con la gramática de mi lengua universal, tenía 48 años. A mis cinco años de edad, un honrado vicario de mi parroquia natal de Lauda (pues entonces Oberlauda era dependiente de la parroquia de Lauda) empezó conmigo a declinar «mensa, mensae…»,… como prescribía el bueno y viejo Bröder[[25]](#footnote-25). Así continué con el latín, hasta que mi querido tío Franz Martin Schleyer desde los 11 años en adelante me instruyó más extensamente en el latín y el alemán en Königheim, pues que él era por fortuna un muy buen gramático, o, como algunos me llaman a mí, un «gramático nato». En la escuela de enseñanza media de Tauberbischofsheim aprendí además, como todos los alumnos, francés, griego y hebreo; también aprendí voluntariamente por la amabilidad del entonces profesor Blatz[[26]](#footnote-26) y actual miembro del consejo de la escuela y concejal en Karlsruhe, quien escribió una de las mejores y más exhaustivas gramáticas alemanas, asimismo las lenguas inglesa e italiana, esta última para prepararme con gran anticipación para un viaje a Italia hasta Roma y Nápoles… En la universidad de Friburgo estudié también árabe y siríaco; durante mis años como vicario y párroco suplente, sobre todo en Wertheim, ruso y portugués; todas las restantes lenguas europeas y extra europeas hasta el número de cincuenta y cinco en Neukirch, Krumbach, y Litzelstetten. Asimismo, me dediqué vivamente en Baden-Baden, Kronau, Wertheim, Messkirch y Litzelstetten a la poesía alemana, latina y griega, también a la siríaca (Efrén de Siria[[27]](#footnote-27)), así como a la poesía de muchos otros pueblos que ya poseen clásicos poéticos en su lengua. Todo esto lo hice para ver cómo el espíritu humano se expresa con perfección racional, lógica, práctica y artística en las más distintas lenguas, y para imprimir a mi lengua universal, tanto como fuera posible, el sello de la simplicidad, la facilidad, la lógica, la coherencia, el valor práctico y la musicalidad, lo que efectivamente he logrado según el juicio unánime de todos los hombres justos, imparciales, y sin prejuicios religiosos ni políticos de todos los pueblos, que han estudiado realmente y con profundidad mi Volapük. Con todo, sólo a mi en gran manera benevolente Creador he de agradecer el hecho de que sin lugar a discusión yo posea un talento innato para las lenguas, gracias al cual desde mis 5 hasta mis 50 años de edad, cuando mi sumamente sobrecargada memoria con los millones de formas del lenguaje y palabras ha disminuido de modo considerable a consecuencia de una grave enfermedad, el estudio de muchas lenguas extranjeras había llegado a ser casi instintivo, enormemente fácil, agradable y no había de arruinarse con ningún amargo desengaño. De este modo preparada, la idea propia y absolutamente original de la lengua universal (pues no sabía nada de todos mis precedesores Leibniz, Wilkins, Bachmeier…, y no quería saber nada de ellos para permanecer original) alcanzó entonces de manera efectiva su ejecución teórica en la que fue para mí mismo una enigmática, incluso misteriosa, noche de insomnio en la casa parroquial de Litzelstätten, Constanza, en la habitación de la esquina del segundo piso, la que da al jardín parroquial, de mediados del mes de marzo de 1879, en la cual noche reﬂexioné muy vivamente sobre todas las necedades, infortunios, achaques y desdichas de nuestro tiempo. Para dar testimonio de la verdad, y confesar abiertamente cómo me sentí en aquella extraña noche, solo puedo decir de este modo con toda gratitud y humildad: Mi ángel de la guarda me inspiró entonces súbitamente el sistema entero de la lengua universal Volapük.

El 31 de marzo de 1879 puse todos juntos por escrito los elementos principales de mi gramática. Desde entonces por puro amor a la muy atormentada humanidad he sacriﬁcado tiempo inconmensurable, esfuerzo, medias noches, nerviosidad, salud, fondos (gastos de franqueo en miles de marcos…), mi prebenda parroquial con sus aumentos, vivienda, jardín, y mi ascenso, a esta mi idea universal; a menudo solo he cosechado la burla, el escarnio, preocupaciones; y quizás debiera esperar que la humanidad se me mostrase agradecida todavía durante mi vida, quizás con un millonario…, que quisiera proporcionarme una vejez libre de preocupaciones, en tanto que ahora debo vivir trabajosamente de mis obras literarias de juventud. Más de uno preﬁere gastar cientos de miles en antojos, excentricidades y caprichos…, al tiempo que como patrón o mecenas de una idea benéﬁca pudiera hacerse para siempre inmortal. *(Sapienti sat!*[[28]](#footnote-28)*)*

Constanza, 1888.



1. Сейчас — район Констанца. [↑](#footnote-ref-1)
2. Статья Слоймера была опубликована в 1938 году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Рукопись Шлейера выставлена на сайте Австрийской национальной библиотеки: http://data.onb.ac.at/dtl/6944696 [↑](#footnote-ref-3)
4. Слоймер перепутал при переводе различающиеся одной буквой слова: Hüttchen (маленькая лачуга, лачужка) и Hütchen (шляпка). Бедняк, о котором писал Шлейер, был вынужден продать свою лагучу, а не шляпку, как в волапюкском переводе. [↑](#footnote-ref-4)
5. Имеется в виду один из учебников латинского языка, который написал Христиан Готлиб Брёдер (1745—1819). Его книги о латинском языке долгое время служили основой преподавания этого предмета в Германии. [↑](#footnote-ref-5)
6. Франц Мартин Шлейер, Franz Martin Schleyer (1808—1871). [↑](#footnote-ref-6)
7. Вероятно, святой Ефрем Сирин (306—373), богослов и поэт, один из Учителей Церкви. [↑](#footnote-ref-7)
8. Опечатка: Иоганн Филипп Шлейер умер 5 января 1894 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. Генрих фон Стефан (Heinrich von Stephan, 1831—1897), с 1870 г. — генеральный директор Почты Северогерманского союза, с 1880 г. — статс-секретарь Имперского почтового управления Германии. [↑](#footnote-ref-9)
10. В работе «Знаменитый католический изобретатель» Слоймер упоминает, что Шлейер поначалу колебался в выборе названия для своего языка, в частности, в ранних рукописях упоминается название «Pantoglossia». Фиксировал Шлейер и такой вариант, как «Kosmoglosse». [↑](#footnote-ref-10)
11. Всего пунктов было 80, но, несмотря на заглавие раздела «Суффиксы», в нём рассматриваются и отдельные приставки. [↑](#footnote-ref-11)
12. То есть волапюком, отнимавшим всё свободное время. [↑](#footnote-ref-12)
13. Перевод по подстрочнику Слоймера. [↑](#footnote-ref-13)
14. Johann Kaspar (1828—1829), Johann Anton (1829—1884, прадед Ханса Мартина Шлейера, собиравшего библиотеку создателя волапюка), Georg Joseph (1834—1836). [↑](#footnote-ref-14)
15. Сейчас — Бад-Болль. [↑](#footnote-ref-15)
16. То есть соборовал, совершил таинство елеосвящения. [↑](#footnote-ref-16)
17. Вероятно, в значении «Боже Крепкий», «Всесильный». [↑](#footnote-ref-17)
18. Pöl tradutana sekü cänid vödas Deutänapükik: ‚Hüttchen’ (ludomil) e ‚Hütchen’ (hätil). Reidolös: ludomili! [↑](#footnote-ref-18)
19. Gudikumo: kobü. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pök pla el 1894. [↑](#footnote-ref-20)
21. Gudikumo: ko [↑](#footnote-ref-21)
22. Inventor del Volapük en Volapük. También está en Volapük la inscripción del escudo oﬁcial de la Kadäm Bevünetik Volapüka (Academia Internacional de Volapük), que se observa encima del título, y que signiﬁca *Una humanidad, una lengua.* La Kadäm Bevünetik Volapüka fue la primera academia internacional de la lengua Volapük, antes de que Schleyer la abandonara y desautorizara para evitar la destrucción de su obra maestra. [↑](#footnote-ref-22)
23. En alemán *negro*. [↑](#footnote-ref-23)
24. Antigua moneda alemana pequeña, originalmente acuñada en plata. [↑](#footnote-ref-24)
25. Libro con las primeras lecciones de gramática latina que recibían los niños alemanes en el s. XIX, intitulado *Kleine lateinische Grammatik mit leichten Lectionen für Anfänger* y compuesto por Christian Gottlieb Bröder. [↑](#footnote-ref-25)
26. Friedrich Blatz, autor de la *Neuhochdeutsche Grammatik: mit Berücksichtigung der historischen Entwickelung der deutschen Sprache.* [↑](#footnote-ref-26)
27. San Efrén de Siria (306-373), uno de los Padres y Doctores de la Iglesia. [↑](#footnote-ref-27)
28. Expresión latina que signiﬁca *para el sabio es bastante.* Quizás tomado de Plauto (Persas, IV, 7). El retrato que sigue es una fotografía de Mons. Johann Martin Schleyer. [↑](#footnote-ref-28)